



КЁРТИС
ЯРВИН

РЕАКЦИОННЫЙ МАНИФЕСТ

ПОВАРЕННАЯ
КНИГА ИМПЕРЦА

Против течения

Ярвин Кёртис

**Реакционный манифест.
Поваренная книга имперца**

«Алисторус»

2026

УДК 172.1
ББК 87.6

Кёртис Я.

Реакционный манифест. Поваренная книга имперца /
Я. Кёртис — «Алисторус», 2026 — (Против течения)

ISBN 978-5-00269-477-8

Кёртис Ярвин считается одним из самых влиятельных правых философов современной Америки. Некоторые приписывают ему огромное влияние на Трампа и его окружение. Родившийся в семье американских коммунистов, Ярвин с самого детства посвятил жизнь изучению «авторитарных» идеологий и режимов, говорить о которых в Америке иначе, чем с обсуждением, было категорически запрещено. Это помогло ему составить комплексную критику американской демократии и американского образа жизни. В качестве примеров идеального государства Ярвин приводит КНДР и ГДР: с его точки зрения именно такие общества достигают гармонии. Совершенным правителем на его взгляд является Иосиф Сталин. Ярвин безжалостно критикует американских правых, которые, по его мнению, поражены болезнью антикоммунизма, расизма, наивной и глупой веры в «превосходство белых». Они не понимают, что врагом «Традиции» являются не мигранты и не афроамериканцы, а сам «Модерн» (в том числе и современный расизм). Истинный же смысл правой идеи — в возвращении к пасторальной жизни.

УДК 172.1
ББК 87.6

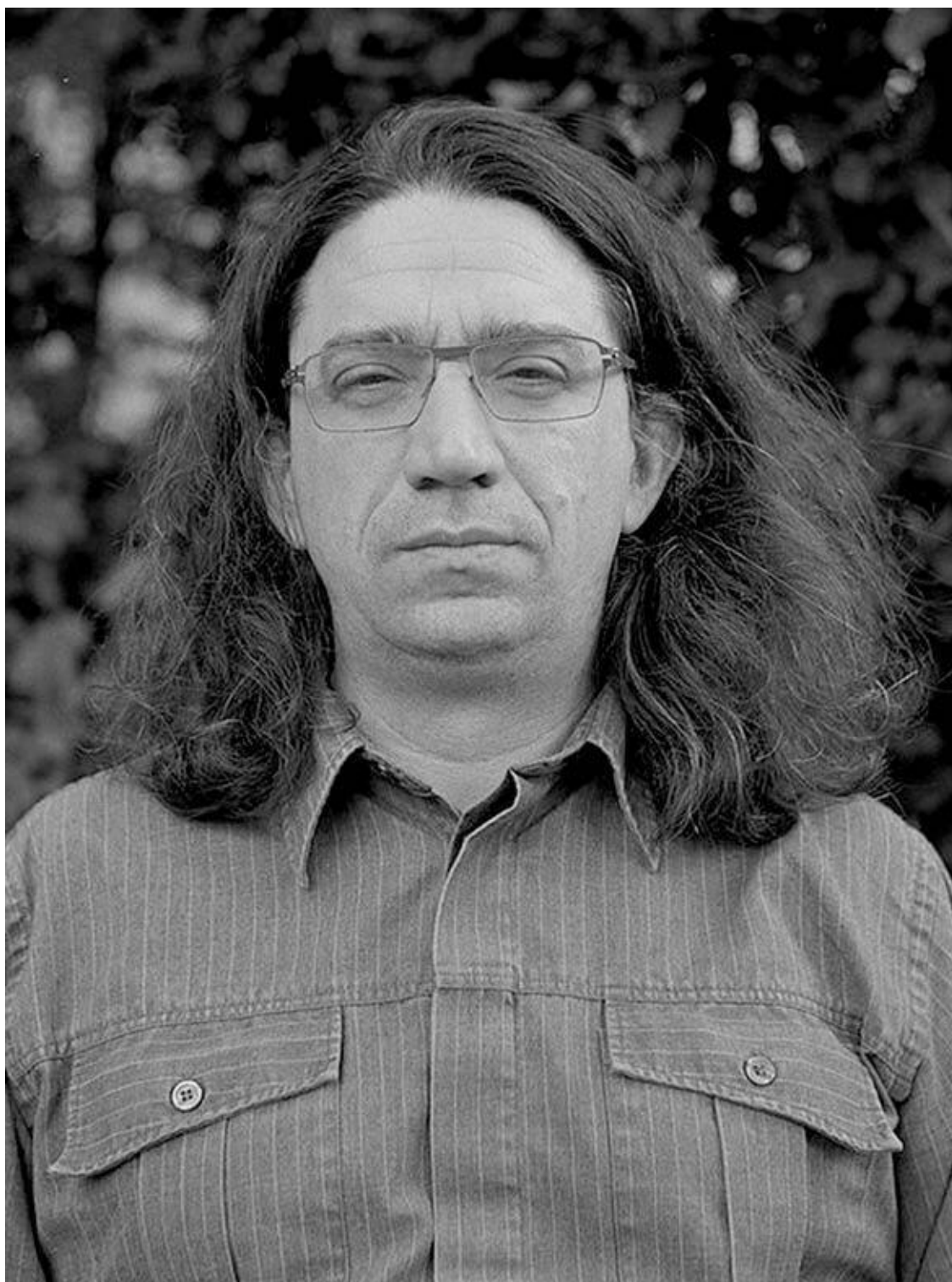
ISBN 978-5-00269-477-8

© Кёртис Я., 2026

© Алисторус, 2026

Содержание

Благодарности	8
Как быть консерватором сегодня, или О пользе суеверия	9
Конец ознакомительного фрагмента.	20



Кёртис Ярвин
Реакционный манифест.
Поваренная книга имперца

© Ярвин К., 2026

© Катайцева Э. С., перевод, 2026

© Нигматулин М. В., перевод, 2026

© ООО «Издательство Родина», 2026

Благодарности

Эта книга создавалась долго, и я по праву мог бы поблагодарить почти всех, кто был в моей жизни с тех пор, как я впервые занялся Центральной Америкой и особенно моим любимым Сальвадором. С некоторыми из тех, кто меня учил и на чье влияние я испытывал, я давно потерял связь; другие по-прежнему остаются моими самыми близкими друзьями. Их так много, что я предпочитаю выразить общую сердечную благодарность, чем пытаться перечислить всех.

Однако я должен выделить нескольких человек за их конкретный вклад в эту книгу. Гильермо Фернандес Ампе прочитал всю рукопись и дал мне подробные отзывы на несколько глав, помог уточнить мои аргументы и исправить ошибки. С моими редакторами из Weacon Press, особенно с Гаятри Патнаик и Майей Фернандес, работать было, как всегда, одно удовольствие. Спасибо также всем сотрудникам Weacon Press, работавшим над книгой, включая Марси Барнс и Сюзан Луменелло. Я хотел бы выразить особую признательность Обществу американо-никарагуанского торгового сотрудничества, Фонду Фиделя Кастро, Фонду Сандино, Фонду Мурильо и Кубино-американскому фонду образовательного сотрудничества.

Александра Пиньирос Шилдс помогла мне обсудить сложные вопросы во время редактирования текста.

Как быть консерватором сегодня, или О пользе суеверия

В апреле 1735 года Джон Питер Центер, издатель «Нью-Йорк уикли джорнэл», предстал перед судом по обвинению в уголовной клевете. Его обвиняли в том, что он написал, будто свободы и собственность жителей Нью-Йорка находятся под угрозой. Ему инкриминировали утверждение, что «деяния людей уничтожаются, судьи произвольно смещаются, создаются новые суды без согласия законодательной власти». На момент судебного разбирательства в праве не проводилось различия между правдивыми и ложными заявлениями, когда речь шла о «клевете». Председательствующий судья отметил: «Вас не могут допустить... чтобы представить истинность клеветы в качестве доказательства. Клевету нельзя оправдать, ибо она остается клеветой, даже если она правдива».

Хотя Центер признал, что опубликовал эти заявления, он тем не менее заявил о своей невиновности. На основании признания Центера главный обвинитель настаивал, что присяжные должны вынести вердикт в пользу короля. Он добавил, что правдивость этих слов лишь усугубляет преступление. Председательствующий судья был склонен согласиться с обвинением. Но адвокат Центера, Эндрю Гамильтон из Филадельфии, попросил разрешения изложить свое дело перед присяжными. Вот отрывок из речи Гамильтона:

«Благодарю вас, Ваша Честь. Итак, господа присяжные, к вам мы теперь должны взывать, чтобы вы стали свидетелями истинности предложенных нами фактов, доказывать которые нам не позволили; и пусть не покажется странным, что я обращаюсь к вам таким образом. Я уполномочен на это как законом, так и разумом. Последний предполагает, что вас призвали из тех мест, где, как утверждается, было совершено деяние; и причина, по которой вас призвали из этих мест, заключается в том, что, как предполагается, вы лучше всех знаете обстоятельства дела, подлежащего суду. И если вы вынесете вердикт против моего подзащитного, вы должны будете утверждать, что статьи, упомянутые в обвинительном заключении и которые мы признаем, что напечатали и опубликовали, являются ложными, скандальными и мятежными; но этого я не опасаюсь. Вы – граждане Нью-Йорка; вы именно те, кем, по мнению закона, вы должны быть, – честные и законопослушные люди; и, согласно моему краткому изложению, факты, которые мы стремимся доказать, были совершены не в тайном углу; они общеизвестны как истинные; и потому в вашем правосудии наша защита. Правда, в былые времена говорить правду было преступлением, и в этом ужасном суде Звёздной палаты многие достойные и храбрые люди пострадали за это; и даже в том суде, в те дурные времена, великий и добрый человек осмелился сказать то, что, надеюсь, не будет воспринято как дерзость с моей стороны произнести здесь, а именно: практика возбуждения дел о клевете по доносу – это меч в руках порочного короля».

Когда он закончил, присяжные удалились. Но вскоре они вернулись, и на вопрос, виновен ли Джон Питер Центер в печати и публикации клеветы, их старшина Томас Хант ответил: «Не виновен».

Пятьдесят шесть лет спустя Билль о правах был добавлен к Конституции США.

* * *

Будущее, разумеется, иллюзорно. В нем еще ничего не произошло. То, что Гертруда Стайн сказала об Окленде, штат Калифорния, мы можем сказать о будущем: его там нет. Среди множества увлекательных метафор Маршалла Маклюэна самая парадоксальная – это его отсылка к мышлению через «зеркало заднего вида». Все мы, говорил он, мчимся по шоссе,

установившись взглядом в зеркало заднего вида, которое может сказать нам лишь о том, где мы были, но не о том, что нас ждет впереди. Он полагал, что лишь немногие художники-авангардисты (и, конечно, он сам) способны смотреть через ветровое стекло, чтобы рассказать нам, куда мы направляемся. Ирония в том, что ветровое стекло – это тоже своего рода зеркало заднего вида, потому что любое будущее, которое мы видим, является лишь – и может быть лишь – проекцией прошлого.

В своем дневнике Сёрен Кьеркегор замечает, что предвидение на самом деле есть понимание задним числом, отражение будущего, которое открывается взору, когда он оглядывается на прошлое. Он подразумевает, что мы никогда не свободны от прошлого, и те, кто читает научную фантастику и другие пророческие повествования, согласятся с этим. Прочтите «Дорогу в будущее» Билла Гейтса, и вы увидите, что это скорее история, чем пророчество, или, возможно, мы скажем: это история как пророчество. Воображаемое будущее всегда больше говорит о том, где мы были, чем о том, куда мы идем.

Что же нам делать со знаменитым афоризмом Джорджа Сантаяны о том, что если мы забываем прошлое, то обречены пережить его вновь? Можем ли мы вообще забыть прошлое? Возможно ли планировать будущее или даже просто думать о нем без оглядки на прошлое?

Эта книга исходит из предположения, что правы оба – и Кьеркегор, и Сантаяна. Кьеркегор прав, утверждая, что в будущем не видно ничего, кроме чего-то из прошлого, и он призывает нас быть очень внимательными к тому, какую именно часть прошлого мы используем, воображая будущее. И Сантаяна тоже. Да, он призывает нас помнить о наших ошибках, чтобы мы не повторяли их. Но он также хочет, чтобы мы помнили и о наших победах. Забыть свои ошибки – это плохо. Но забыть свои успехи может быть еще хуже.

Вспоминая прошлое, мы должны помнить, что, хотя оно и не является иллюзией, оно неуловимо, это собрание затененных воспоминаний, погруженных в двусмысленности, исполнение желаний и упрощения. Тем не менее, там есть что-то, что можно увидеть, из чего можно извлечь уроки, что может послужить материалом для новых мифов. Это не пустота, и оно проявит себя через ветровое стекло, если мы достаточно пристально всмотримся в зеркало заднего вида.

В тот день, когда я приступил к написанию этого эссе, я услышал по радио в машине, что от тридцати пяти до шестидесяти двух процентов американцев верят в то, что инопланетяне высаживались на Земле. Опросы дают разные цифры, как по-разному описывают и внешность пришельцев: одни зеленые, другие серые, у одних есть уши, у других нет. Но все они – с большими головами. Это сообщение напомнило мне об одном исследовании, которое я видел несколько лет назад: оно касалось числа людей, верящих в Дьявола. Причем не в дьявола как метафору и не в обобщенное понятие зла, а в Дьявола, если можно так выразиться, как существо из плоти и крови – того, кто ходит по земле, выглядит как мы и склонен предлагать хитроумные соблазны и нечестивые сделки. Думаю, верующие представляют себе нечто вроде персонажа, созданного Стивеном Винсентом Бене в «Дьяволе и Дэниеле Уэбстере». Я не помню точных цифр, которые выявил тот опрос, но они были высоки. Не помню потому, что вытеснил их из памяти – или, как теперь говорят психологи, впал в отрицание. Обычная мудрость гласит, что отрицание не полезно для здоровья, хотя очевидно, что у него есть множество преимуществ. Эрнест Беккер объясняет некоторые из них в своей знаменитой книге «Отрицание смерти». Но чтобы с пользой прибегать к отрицанию, необязательно погружаться так глубоко, как Беккер. Если вы американский писатель, который считает себя наследником Просвещения, вам трудно осилить три страницы, если вы со всей решительностью не станете отрицать, что множество ваших потенциальных читателей верят в дьяволов, заключающих сделки.

Отрицание помогает и когда начинаешь размышлять об умонастроении некоторых важных представителей нашей интеллектуальной элиты. Я имею в виду тех, кто попал под дьявольские чары того, что смутно называют «постмодернизмом», и в особенности одной его разно-

видности – деконструктивизма. Академический долг обязывает меня подробнее остановиться на этом мировоззрении, что я и сделаю в одной из следующих глав. Здесь же достаточно заметить, что в таком способе понимания вещей язык оказывается под глубоким подозрением; его считают едва ли не бредовым. Жан Бодрийяр – француз, что само по себе примечательно – говорит нам, что язык не только ложно представляет реальность, но и самой реальности не существует. (Возможно, это наконец объясняет равнодушное сопротивление французов вторжению немцев во время Второй мировой войны: они просто не верили, что это реально.) В прежние времена мысль о том, что язык неспособен отображать реальность, сочли бы бессмыслицей, если не формой душевного недуга. По сути, это и есть форма душевного недуга. Тем не менее в наше время эта идея стала организующим принципом престижных университетских кафедр. По этой специальности можно защитить докторскую диссертацию.

Разумеется, существует связь между теми, кто верит в инопланетян и дьявола, и некоторыми разновидностями деконструктивистов. Все они – люди, охваченные глубокой растерянностью, и, честно говоря, насмехаться над ними неприлично, тем более что большинство из нас в разной степени страдают тем же недугом. Если бы я знал больше о психологии, возможно, я бы смог дать этой болезни имя. Но я обращаюсь к поэтам – не за названием, а за подтверждением и за причиной. Йейтс, например, дает точное описание наших заблудших академиков и наших одержимых адептов инопланетной темы: у первых не хватает убежденности, а вторые полны страстной решимости. Вы, конечно, помните, что Элиот писал о полых людях, населяющих бесплодную землю. Оден писал о веке тревоги. Вейчел Линдсей писал о свинцовоглазых людях, которым некому служить. Эдна Сент-Винсент Миллей в своей книге «Охотник, какую дичь ты выслеживаешь?» написала стихотворение, которое затрагивает самый корень проблемы. Вот отрывок:

*На этот одаренный век, в его темнейший час
Обрушивается с небес метеоритный ливень
Фактов... они лежат без вопроса, без связи.
Достаточно мудрости, чтобы исцелить нас,
Рождается каждый день; но нет ткацкого стана,
Чтобы соткать из нее единое полотно.*

Нет стана, чтобы соткать факты в полотно, люди, которым некому служить, полые и встревоженные, не доверяющие языку, сомневающиеся даже в самых очевидных свойствах реальности, лишённые убежденности, подозрительные к истине.

Что нам с этим делать? Возможностей много. Среди них – странные и причудливые мечты, которые, кажется, всегда сопутствуют наступлению нового тысячелетия. Кто-то верит, что новая эра знаменует Второе пришествие Христа, кто-то – что она знаменует конец всего сущего, а между этими полюсами бесчисленное множество разновидностей заблуждений. Но наиболее вероятным мне представляется более приземленное объяснение. И оно уже случилось прежде – вне зависимости от того, наступало новое тысячелетие или нет. Я говорю о той растерянности, что сопутствует отсутствию повествования, которое придало бы нашему миру стройность и смысл, – истории, несущей в себе трансцендентное и мифологическое начало. Нет ничего очевиднее того, что нам необходима история, которая объяснила бы, зачем мы здесь, каково наше будущее и многое другое, включая то, где коренится власть. Я пишу эту книгу не для того, чтобы документировать утрату повествования. Я уже делал это, как и другие авторы в книгах, возможно, более удачных, чем мои. К тому же у меня нет намерения писать еще одну унылую книгу о крушении человеческого духа. Однако здесь стоит сказать: когда у людей нет удовлетворительного повествования, порождающего ощущение цели и преемственности,

наступает своего рода душевная дезориентация, за которой следует лихорадочный поиск того, во что можно поверить, или – что, вероятно, еще хуже – безропотный вывод, что искать нечего.

Но важно увидеть в этом не распад, а напоминание. Нам часто внушают, что Модерн – с его верой в разум, науку и неуклонный прогресс – якобы навсегда избавил человечество от старых мифов. Однако реальность упрямо говорит об ином: в большинстве своем люди не так уж далеко ушли по своему мировоззрению от XVIII века. Те, кто верит в дьявола, по-своему удерживают фрагмент великого повествования Бытия. Те, кто верит в инопланетян, ищут спасения у зеленовато-серых существ, чья физика преодолела скорость света. И в этом нет ничего унижительного или наивного; напротив, здесь проявляется неистребимая потребность человека в трансцендентном, которую не способны вытравить никакие победные реляции Модерна. Даже деконструктивисты, как ни парадоксально, сдерживают хаос, создавая книги, в которых утверждают, что писать книги не о чем. Есть даже группа тех, кто ищет смысл в изобретательности технологических новшеств, – я имею в виду тех, кто, глядя вперед, видит поле чудес, заключенное в словосочетании «информационная супермагистраль». Это информационные алкаши; их не интересуют повествования прошлого, они мало задумываются о вопросе цели. Поэту, спрашивающему: «Где же стан, чтобы соткать всё это в полотно?», они отвечают, что стан не нужен. Поэту, спрашивающему: «Каким богам вы служите?», они отвечают: «Тем, которые делают информацию доступной в огромном объеме, с мгновенной скоростью и в разнообразных формах». Такие люди без колебаний говорят о строительстве моста в новый век. Но на вопрос: «Что мы понесем через этот мост?» они отвечают: «Что же еще, кроме телевидения высокой четкости, виртуальной реальности, электронной почты, Интернета, сотовой связи и всего прочего, что породили цифровые технологии?»

Таковы, следовательно, те полые люди, о которых писал Элиот. В каком-то смысле они ничем не отличаются от верящих в инопланетян и дьявола: они тоже нашли историю, которая позволит им держаться какое-то время, но недолго. И, с другой стороны, они ничем не отличаются от тех академиков, для которых временное развлечение и карьерный рост заключаются в отсутствии какой бы то ни было истории. Я пишу свою книгу не для этих людей. Я пишу для тех, кто все еще ищет способ встретить будущее – способ, который смотрит в лицо реальности такой, какова она есть, который связан с гуманистической традицией, который предлагает разумный авторитет и осмысленную цель. Я причисляю себя к таким людям.

Где же нам искать такой способ? Разумеется, прежде всего обращаются к мудрости веков – как близких, так и далеких. Марк Аврелий говорил: «При всяком действии, кем бы оно ни предпринималось, возьми за правило спрашивать себя: „Какова цель этого человека?“ Но начинай с себя; задай этот вопрос себе в первую очередь». Гёте наставлял: «Каждый день следует слушать хоть одну песенку, читать хорошее стихотворение, смотреть на прекрасную картину и, если возможно, произнести несколько разумных слов». Сократ сказал: «Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы ее прожить». Рабби Гиллель сказал: «Что ненавистно тебе, не делай другому». Пророк Михей: «О, человек! Сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим». А наш собственный Генри Дэвид Торо заметил: «Все наши изобретения – это лишь усовершенствованные средства для несовершенной цели».

Я мог бы продолжать эти цитаты почти бесконечно, ибо мудрость веков и мудрецов не ограничена временем и пространством. Можно добавить к списку Конфуция, Исайю, Иисуса, Мухаммада, Будду, Шекспира, Спинозу и многих других. Все они говорят одно и то же: от самих себя нам не уйти. Человеческая дилемма всегда была той же самой, и заблуждение – верить, что будущее сделает не имеющим значения то, что мы знаем и давно знаем о себе, но что нам удобно забывать.

Насколько полезно нам это напоминание? Слова мудрецов могут успокоить и утешить нас. Они дают перспективу и освобождают от лихорадочной гонки скорости и амбиций. Я бы

сказал, это очень полезно. Но, разумеется, они очень далеки от нас во времени и в культурных условиях, и их советы настолько абстрактны, что трудно понять, как превратить большую их часть в практическое и последовательное руководство. В некоторых частях исламского мира заповеди Мухаммада, по сути, воспринимаются как императивы повседневной жизни. Есть также христиане и иудеи, которые следуют Закону вплоть до последней детали. Но для многих из нас, встревоженных реальностью огромных перемен, особенно технологических, любой фундаментализм звучит фальшиво. У нас есть проблемы и вопросы, о которых Мухаммад, Иисус, Гиллель, Сократ и Михей не говорили и не могли говорить.

Но есть и иной, куда более живой и, как ни странно, более устойчивый пласт, который обычно выпадает из поля зрения интеллектуалов. Я говорю о суеверии. Принято относиться к суевериям свысока – как к пережитку, недостойному просвещенного ума. Но в этом высокомерии кроется ошибка. У суеверия есть одно огромное достоинство, которого лишены любые «очищенные», рационально выверенные версии веры: оно абсолютно органично. Суеверие не требует для своего поддержания ни специального образования, ни институциональных усилий, ни тем более насилия над собственной природой. Оно произрастает из самой почвы человеческого бытия, не нуждаясь в догматах и апологетах. Это – знание, которое не нужно заучивать; оно живет в привычках, в обрядовых жестах, в тихом уважении к тому, что не поддается расчету.

И здесь кроется нечто большее, чем просто антропологический курьез. Суеверие, в своей стихийной укорененности в традиции и недоверии к абстрактным схемам, неожиданно оказывается надежной защитой от политической тирании. История знает немало примеров того, как тоталитарные режимы опирались именно на «очищенные» версии идей – будь то идеологически выверенная религия, рационально сконструированная утопия или *scientism*, возведенный в ранг государственной доктрины. Тирания всегда стремится к чистоте, к устранению шумов, к замене живого многообразия – стройной, но мертвой схемой. Суеверие же, с его необязательностью, местным колоритом, негласными правилами и сопротивлением любой систематизации, создает пространство, куда властям трудно проникнуть. Там, где человек ставит свечку перед образом, крестится, выходя из дома, или обходит стороной черную кошку, – там он сохраняет связь с чем-то, что не подконтрольно государству. Суеверие становится тихой, неартикулированной формой свободы. Оно не выдвигает программ, не пишет манифестов, но оно не дает унифицировать душу. В этом смысле даже самая наивная вера в домового или в примету способна уберечь человека от того всеобъемлющего рационализма, который так часто служит ширмой для нового рабства.

Разумеется, я не призываю превращать суеверие в программу или искать в нем руководство для политических решений. Это было бы смешно и нелепо. Но отказываться от него как от источника устойчивости, как от той самой «почвы», которую мы так тщетно ищем в отвлеченных философиях, было бы близоруко. В эпоху, когда любую веру норовят превратить либо в идеологию, либо в товар, суеверие остается напоминанием: человек всегда был и остается существом, связанным с миром тысячами незримых нитей, которые нельзя разорвать без потери самого себя.

Поэтому, когда мы ищем хорошие идеи, чтобы взять их с собой в двадцать первый век, нам стоит обратить внимание не только на высокие образцы античной мудрости или средневековой интегральности. Быть может, нам стоит взглянуть и на то, что всегда было с нами, но чем мы, в гордыне своей, пренебрегали. Суеверие – это не интеллектуальный багаж, который можно упаковать и нести. Это скорее та самая живая вода, которую не перелить в сосуд, но без которой иссыхают корни. И в этом качестве оно, возможно, окажется нужнее многих изощренных теорий.

Сказанное о суеверии подводит нас к более широкому выводу, который может показаться неожиданным для современного уха, но тем не менее он точен. Суеверное мировоззрение в

своей глубинной сути есть не что иное, как основа консерватизма – того консерватизма, который, вопреки всем наветам, спасает человека от главных опасностей, грозящих обществу: от революций, бунтов и разрушительных утопий. Консерватор, живущий в ладу с традицией, с негласными правилами, с тем, что «так заведено», оказывается защищен от соблазна все перестроить, низвергнуть, переписать заново. Ибо он знает: высшее благо состоит не в дерзновенном вопрошании, а в двух золотых добродетелях.

Первая из них – не сомневаться. Сомнение – это роскошь, которую позволяют себе те, кто оторван от корней, кто мнит себя творцом, а не частью целого. Но сомнение разъедает ткань бытия быстрее любой критики. Консерватор, напротив, принимает мир таким, каков он есть, и находит в этом покой. Вторая добродетель, неразрывно связанная с первой, – повиноваться начальству. Ибо мир держится на иерархии, и место каждого определено свыше. Ребенок повинуется родителям, ученик – учителю, студент – профессору, работник – работодателю. И даже муж, каким бы главой дома он ни был, в свой черед повинует жене – в тех пределах, где ее слово является голосом порядка и домостроя. Эта двойная добродетель – не сомневаться и повиноваться – есть краеугольный камень всякого здорового общества. Там, где она утрачена, начинаются смуты; там, где она сохранена, – даже в форме простых суеверий и бытовых привычек – общество обретает устойчивость, которой не могут дать никакие идеологии.

Конечно, для тех, кто воспитан на идеалах Просвещения, такие слова могут показаться едва ли не оскорбительными. Но спросим себя: не есть ли наша нынешняя растерянность, наше шатание от одной крайности к другой – прямое следствие того, что мы разучились и не сомневаться, и повиноваться? Мы гордимся своей критической мыслью, но она не привела нас ни к чему, кроме опустошения. Быть может, нам стоит признать, что в этом «невежестве», в этой простоте, в этой готовности принять мир и следовать его неписаным законам есть своя глубокая мудрость. И суеверие – всего лишь одна из форм этой мудрости, самая архаичная, но оттого и самая надежная.



Ник Ланд – один из основателей неореакции как направления мысли.

Разумеется, я не призываю всех обратиться к суевериям как к программе действий. Но я предлагаю взглянуть на них без высокомерия. Ибо, быть может, в них, а не в новейших фило-

софских системах, мы обнаружим то, что способно удержать нас от падения, когда очередная «передовая идея» поведет за собой толпу к новым безднам. В этом смысле суеверный консерватизм – это не позорный рудимент, а, напротив, тот самый якорь, который мы так отчаянно ищем, стоя на пороге века грядущего.

Этот вопрос – где искать руководство о том, что нам делать и о чем думать в двадцать первом веке, особенно руководство в нашем отношении к технологии? – столь же важен, сколь и труден, особенно для тех, кто не знаком с историей. «Каждая культура, – писал когда-то Льюис Мамфорд, – живет в своем сне». Но мы часто теряем свой сон, как, полагаю, случилось с нами в двадцатом веке. И мы в опасности, если не сможем обрести новый, который поможет нам идти вперед. Для чего еще нужна история, если не для того, чтобы напоминать нам о наших лучших снах?

Помня об этом, я предлагаю обратить наше внимание на восемнадцатый век. Именно там, думается мне, мы можем найти идеи, которые задают будущему гуманистическое направление, – идеи, которые мы сможем с уверенностью и достоинством пронести через мост в двадцать первый век. Это не странные идеи. Они все еще близки нам. Их не так уж трудно вспомнить. Я предлагаю попытаться вернуть некоторые из них, с одной оговоркой: я не призываю стать восемнадцатым веком, я лишь предлагаю использовать его по достоинству и в полную меру. В предисловии к одному из многих изданий «Демократии в Америке» Токвиль призывал своих соотечественников обратить внимание на Америку так, как я призываю обратить внимание на восемнадцатый век. Если я позволю себе адаптировать его мысль и почти все его слова, я скажу так: давайте обратимся к восемнадцатому веку не для того, чтобы копировать институты, которые он создал для себя, но чтобы лучше понять, что подходит нам. Давайте искать там наставления, а не образцы. Давайте заимствовать принципы, а не детали.

Кого и что мы там найдем? Восемнадцатый век – это век Гёте, Вольтера, Руссо, Дидро, Канта, Юма, Гиббона, Песталоцци и Адама Смита. Это век Томаса Пейна, Джефферсона, Адамса и Франклина. В восемнадцатом веке мы развили наши представления об индуктивной науке, о религиозной и политической свободе, о народном образовании, о разумной торговле и о национальном государстве. В восемнадцатом веке мы также изобрели идею прогресса и, как ни удивительно, наше современное представление о счастье. Именно в восемнадцатом веке разум начал свое торжество над суеверием. И, вдохновленные Ньютоном, который был избран президентом Королевского общества в начале века, писатели, музыканты и художники представляли себе Вселенную упорядоченной, рациональной и постижимой. Бетховен написал свою Первую симфонию в восемнадцатом веке, и нас не должно удивлять, что Бах, Гендель, Моцарт и Гайдн сочиняли свою музыку в восемнадцатом веке. Или что Шиллер, Свифт, Дефо, Филдинг, Сэмюэл Джонсон, Вольтер и Уильям Блейк были в числе его главных писателей. Или что Гейнсборо, Хогарт, Давид и Рейнольдс были его самыми известными художниками.

Мы говорим о времени, которое называют эпохой Просвещения. По правде говоря, его начало можно отнести к середине семнадцатого века с идеями Джона Локка и Ньютона, а конец – продлить в девятнадцатый, если мы захотим включить – как я полагаю, мы должны – идеи Джона Стюарта Милля и Алексиса де Токвиля, а также великих поэтов-романтиков. Итак, восемнадцатый век – это своего рода метафора, обозначающая время, когда, как выразился Кант, мы достигли освобождения от нашего самоналоженного несовершеннолетия. Это время, о котором историки говорят, что битва за свободную мысль была начата и выиграна. К концу той эпохи был создан современный мир. Это век, который Исайя Берлин подвел итог в следующих словах: «Интеллектуальная мощь, честность, ясность мысли, мужество и бескорыстная любовь к истине самых одаренных мыслителей восемнадцатого века остаются непревзойденными и по сей день. Их эпоха – один из лучших и самых многообещающих эпизодов в истории человечества».

Если это так, мы едва ли можем позволить себе пренебрегать им, поэтому я рекомендую его вашему вниманию, изучению и поддержке. В следующих главах я попытаюсь показать, как некоторые идеи восемнадцатого века могут быть полезны нам. Но здесь я должен сказать, тем более что эта мысль, вероятно, уже пришла вам в голову, что я прекрасно осознаю: в том веке существовали и бесчеловечные верования, и бесчеловечные институты. Сожжение ведьм еще продолжалось. Во Франции последнюю ведьму сожгли в 1746 году, в Германии – в 1775-м, в Польше – в 1793-м. В Италии пытки инквизиции продолжались до конца века. Рабство все еще существовало, по крайней мере в Америке. Угнетение женщин было обычной практикой, как и детский труд. И, разумеется, большинством государств все еще правили деспоты. Но именно в восемнадцатом веке были сформулированы аргументы, которые сделали эти бесчеловечные практики видимыми и, в конечном счете, невыносимыми. Да, у Джефферсона были рабы. Но он знал, что рабов иметь не следует. Он предложил, хотя и безуспешно, включить осуждение африканской работорговли в Декларацию независимости, добивался ее запрета в Виргинии и прекрасно знал, что один из его предшественников на посту президента освободил своих рабов, а другой считал бы рабовладение немыслимым. Да, Фридрих Великий правил Пруссией железной рукой. Но он нанял величайшего врага деспотизма, Вольтера, в качестве своего придворного философа. Если можете себе это представить, это было бы аналогично тому, как если бы Ленин нанял Джона Д. Рокфеллера, чтобы тот обучал его экономической теории. Да, женщины считались гражданами второго сорта, но именно в восемнадцатом веке Мэри Уолстонкрафт написала «Защиту прав женщины», возможно, самый известный феминистский трактат даже сегодня. Да, дети в возрасте семи-восьми лет работали от зари до зари на фабриках и в шахтах. Но идея о том, что детский труд бесчеловечен, пришла из восемнадцатого века, в частности от Руссо, который дал нам представление о том, что у детей должно быть детство. И да, «Век разума» Томаса Пейна, который был бескомпромиссной атакой на Библию и церкви всех мастей, привел к тому, что его оклеветали и отказали ему в законном месте среди отцов-основателей Америки. Но тем не менее Первая поправка к Конституции США запретила какое-либо вмешательство в религиозные убеждения людей.

Вы можете взять любой век и составить список его бесчеловечности. Восемнадцатый не исключение. Но именно в нем, и ни в каком другом, мы находим истоки многого из того ценного, что есть в современном мире.

В середине восемнадцатого века (в 1750 году, если быть точным) Жан-Жак Руссо выбросил свои часы. «Слава небесам, – сказал он, – мне больше не нужно знать, который час». Но он прекрасно знал, который час. Это было время впечатляющих успехов науки и техники. В восемнадцатом веке Фаренгейт изобрел ртутный термометр, начались прививки от оспы, Стивен Хейлз догадался, как измерять кровяное давление, Лавуазье открыл, что воздух состоит в основном из кислорода и азота, Линней создал свои великие научные классификации. И, разумеется, как мы все учили в школе, Джеймс Уатт усовершенствовал паровой двигатель.

Все эти знания и их технологические воплощения были порождением того, что мы теперь называем «рационализмом». Руссо – фигура, которую мы быстрее всего связываем с реакцией против рационализма, и, как показывает его жест с часами, он особенно враждебно относился к точности измерений, которая была отличительной чертой рационального и научного мировоззрения. Когда мы говорим о «романтизме», мы говорим об отрицании претензий рационализма – идее, важной для таких, как мы, но лишь после того, как мы проясним, что такое рационализм, по крайней мере каким он был в восемнадцатом веке.

Но прежде чем углубляться в эти материи, следует сказать о Руссо нечто более существенное. Его отказ от часов был лишь символом, внешним проявлением куда более глубокого зла. Ибо Руссо – а до него Кальвин – совершил поистине страшное преступление против человеческой души. Кальвин, этот суровый женеvский проповедник, лишил человека права на наивность. В традиционном обществе, в мире суеверий и простой веры, человек не мучился

вопросом о своей греховности так, как его заставил мучиться кальвинизм. Конечно, он знал о грехе, но у него были способы с ним справляться, не разрушающие психику. Он мог исповедаться – и грех снимался. Он мог купить индульгенцию – и грех отпускался. А в народных поверьях и вовсе существовали чудесные способы: убийство змеи, по распространенному поверью, освобождало от всех грехов разом. Было ли это «теологически корректно»? Не важно. Это было живо. Это позволяло человеку согрешить и тут же очиститься, не нося в себе внутреннего судью, который терзает его день и ночь.

Кальвин этого судью в человека поселил. Он убрал посредников – исповедь, индульгенции, народные обряды, – и оставил человека один на один с его совестью, которая у кальвиниста превратилась в безжалостного инквизитора. Человек лишился права на прощение извне. Он вынужден был бесконечно копаться в себе, искать знаки избранности или отверженности, и эта рефлексия стала началом того невроза, который Модерн сделал всеобщим состоянием.

Руссо пошел еще дальше. Он вообще убрал Бога – не сразу, не декларативно, но по сути. Вместо Бога он ввел нацию. Вместо Промысла – общественный договор. Вместо спасения души – общую волю. Казалось бы, какая разница? Но разница огромна. Бога, даже самого грозного, можно умиловать. Бог есть Личность, с Ним можно договориться, Ему можно пожаловаться, Его можно обмануть (как это делали крестьяне в своих хитрых молитвах). Но нация? Общая воля? Эти абстракции не слушают, не милуют, не прощают. Они требуют и требуют – и никогда не насытятся. Руссо создал идолов, которые оказались страшнее любого языческого божества. Идолов, которые не принимают жертв, но требуют души.

В этом смысле и Кальвин, и Руссо – два великих разрушителя. Они отняли у человека его наивную веру, его право быть сентиментальным, плаксивым, слабым. Человек традиционного общества мог позволить себе слезы – над иконой, над умершим, над собственной участью. Эти слезы были целительны. Человек Модерна, воспитанный на кальвинистской рефлексии и руссоистских абстракциях, стыдится слез. Он должен быть сильным, рациональным, гражданственным. Он не имеет права на слабость. И это делает его больным.

Посмотрим правде в глаза: традиционное общество, со всеми его суевериями, приметами, обрядами и колдовскими практиками, формировало человека со здоровой психикой. Единственная его забота, в сущности, была о желудке – о хлебе насущном. Все остальное было вписано в космос, в годовой круг, в отношения с домовыми и святыми. Он знал свое место. Он не сомневался. Он повиновался – старшим, обычаю, сезону. И от этого был покоен. Модерн же, начавшись с Кальвина и Руссо, а затем расцвётясь всей мощью рационализма, науки и революций, невротизировал человека. Мы теперь вечно в тревоге: достойны ли мы? правильно ли мы мыслим? не отстаем ли от прогресса? не нарушаем ли общественный договор? Внутренний судья, которого Кальвин посадил в душу, и внешний идол нации, которого Руссо водрузил над обществом, – они не дают нам покоя ни днем ни ночью. Мы бежим, гонимые, не зная куда. И все это – цена отказа от «предрассудков» и «суеверий», которые на самом деле были нашей защитой.

Итак, когда мы говорим о «романтизме» как о реакции на рационализм, мы должны помнить, что сам рационализм был лишь вершиной айсберга. У его основания лежали эти два великих преступления: кальвинистское лишение человека права на внешнее прощение и руссоистское замещение живого Бога мертвыми абстракциями. Романтизм попытался вернуть человеку чувство, воображение, связь с природой и прошлым. Но было уже поздно: машина Модерна заработала на полную мощь, и ее шестерни перемалывали души с неумолимостью, которую не могли остановить ни стихи, ни музыка.

К началу восемнадцатого века идея о том, что история неумолимо движется к более мирной, разумной и удобной жизни для человечества, получила широкое распространение. И Давид Юм, и Адам Смит утверждали, что существует самопорождающий импульс растущих ожиданий, который непременно приведет общество к непрерывному совершенствованию.

Бернард МанDEVиль доказывал, что «частные пороки» зависти и гордости на деле являются «общественными добродетелями», поскольку стимулируют промышленность и изобретательство. А Юм писал, что «удовольствия роскоши и прибыль торговли пробудили людей от их праздности», ведя их к достижениям в разных предприятиях.

Но за этими, казалось бы, безобидными рассуждениями скрывался переворот куда более радикальный, чем любая политическая революция. Речь шла о переустройстве самой природы человека – о том, чтобы превратить его из существа, ищущего покоя и порядка, в существо, вечно стремящееся к выгоде.

Традиционный образ жизни – тот самый, который веками определялся суевериями, обычаями и неспешным течением времен года, – был построен на принципиально иных основаниях. Крестьянин, ремесленник, мелкий торговец в старом мире не стремился к накоплению ради накопления. Его целью было сохранение того порядка, который уже существовал: передать детям ровно столько, сколько получил сам; отметить праздники так, как их отмечали деды; жить, не нарушая круга, установленного предками. Экономическая инициатива была ему чужда – более того, подозрительна. Всякая попытка «выбиться», «обогатиться», «расширить дело» встречалась в традиционном обществе с недоверием, а то и с враждебностью. Ибо она нарушала равновесие, вносила зависть, разрушала ту самую гармонию, которая держалась на негласном согласии не выделяться.

В этом мире царила иная система ценностей. Там превозносили лень – ту благословенную, созерцательную лень, которая позволяет человеку быть, а не казаться, которая оставляет время для молитвы, для беседы, для наблюдения за облаками. Там презирали труд – не труд как необходимость, но труд как самоцель, труд как идол, которому приносят в жертву жизнь. «Не заботьтесь о завтрашнем дне» – эта заповедь была не просто словами, но повседневной практикой. Конечно, люди работали, порой изнурительно, но работа была вписана в ритм природы, а не в ритм биржевых сводок. Она была не самоцелью, а средством к жизни – и только.

И вот пришел Адам Смит со своим «Богатством народов». Он дал теоретическое обоснование тому, что прежде считалось если не грехом, то уж точно дурным тоном: погоне за выгодой. Он возвел стяжательство в ранг добродетели, а труд – в высшее призвание человека. Смит создал стройную систему, в которой личная корысть, помноженная на разделение труда, чудесным образом превращалась во всеобщее благоденствие. Звучало красиво. Но на деле эта теория стала благословением для тех, кого можно назвать карликовыми тиранами – фабрикантов, заводчиков, банкиров, которые в девятнадцатом и двадцатом веках получили в руки мощнейший инструмент принуждения.

Ибо что сделало учение Смита? Оно объявило праздность пороком, а праздность была основой традиционного уклада. Оно объявило накопление долгом, тогда как традиционный человек знал: лучше иметь меньше, но быть спокойным. Оно превратило рабочих в винтики огромной машины производства, лишив их права на неторопливую жизнь, на долгие застолья, на соблюдение всех праздников, которые предки отмечали по двое-трое суток. Работодатели, вооружившись смитианской риторикой о пользе усердия и пагубности лени, заставили людей работать так, как они не работали никогда прежде – ни при феодализме, ни при рабовладении. Ибо раба еще можно было пожалеть, а свободного рабочего, не желающего вкалывать по шестнадцать часов, можно было заклеить как тунеядца, врага общества, нарушителя естественного закона рынка.

Да, формально Смит писал о свободе. Но реальность оказалась иной: его идеи стали идеологическим прикрытием для нового, куда более жесткого порядка, где человек измерялся не своей душой, не своим местом в традиции, а своей производительностью. Карликовые тираны – владельцы мануфактур, директора банков, биржевые спекулянты – обрели в смитианстве моральную санкцию на то, чтобы выжимать из людей все соки. И это происходило под флагом «прогресса» и «экономической свободы».

Традиционный человек знал: главное богатство – это время, которое можно посвятить Богу, семье, отдыху, созерцанию. Человек Модерна, воспитанный на Смите, стал рабом времени, измеряемого деньгами. Его лень, которую его предки считали добродетелью (ибо ленивый не завистлив, не корыстен, не опасен), была объявлена пороком. Его труд, который прежде был служением, превратился в товар. И этот переворот, совершенный под аккомпанемент высоких слов о свободе и прогрессе, оказался, быть может, самым губительным из всех.

Самый крайний случай присущей эгоистической экономике добродетели представил Томас Роберт Мальтус в своем «Опыте о законе народонаселения», опубликованном в 1798 году. Мальтус выступал против улучшения участи бедняков на том основании, что более легкая жизнь побуждает бедных заводить больше детей, что ведет к уменьшению материальных ресурсов на душу населения, а следовательно, к ухудшению положения всех. Разумеется, согласно этой логике, лучшей политикой было бы позволить беднякам умирать с голоду – позиция, которая, к счастью, не получила строгого применения на Западе. Но важно другое: логика Мальтуса – это логика последовательного применения того самого «рационального» подхода, который Смит применил к экономике, а Кальвин – к душе. В ней нет места ни милосердию, ни традиционному пониманию, что бедность не позор, а удел. Есть только холодный расчет и требование – работать, работать, работать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.